

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ**

№ 1927 4

АПРЕЛЬ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
“РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ”
МОСКВА**

~~Н 9 5 / 10~~

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СЕКЦИИ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР

№ 7—8
ИЮЛЬ—АВГУСТ
1927

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ“
МОСКВА

ЗА ПРЕГРАНИЦЕЙ

ВО ФРАНЦИИ.

(Беглые впечатления.)

Евг. Тарле.

(Ленинград).

В этих кратких заметках я хочу поделиться с читателем некоторыми своими впечатлениями от ученого Парижа, как я его застал после десятилетнего перерыва, когда снова начал (с 1924 г.) каждое лето ездить для архивных занятий во Францию. Всякая попытка строгой систематизации была бы совершенно неуместна в этом беглом очерке; буду припоминать свои впечатления так, как они откладывались в моей психике.

Когда в летнее утро 1924 г. я впервые после десяти лет вошел в зал Дворца Субизов, где помещается Национальный архив, и сел за „свой“ стол, то мне показалось в первый момент, будто потрясения, связанные с мировой войной, не коснулись этой обители. В самом деле: в ящике я нашел свой карандаш, резинку и бумажку с номерками, сделанными в 1914 году мою рукою; все это имело такой вид, будто только вчера я сидел за этим столом. Но стоило мне оглянуться, стоило поговорить с друзьями-архивистами — и это первое, поверхностное впечатление рассеялось без следа. В небольшом зале, где иногда нехватало места, где работали прежде одновременно 25—30—40 человек, сидело 4—5 ученых, подозрительно светловолосых и крупно-сложенных — явно не французы. Где Шарль Балло, молодой ярко-талантливый историк, готовивший диссертацию о промышленности в XVIII веке? Убит на войне. Где профессор Бордосского лицея, готовившийся к кафедре? Пал у Вердена. Где два студента Ecole des Chartes, работавшие вот тут, рядом со мною? Погибли при второй Марне. Дальше мне не хотелось спрашивать о молодых. Но где старые, так усердно работавшие? Один не может уже позволить себе приезжать ежегодно с Рейна, потому что из-за девалоризации Франка его жалованье сократилось почти вдвое. Другой живет попрежнему в Париже, но ему уже нехватает его пенсии, и он поступил на старости лет в счетную часть большой мануфактуры и проводит дни на службе.

В 1925 и 1926 гг. я видел уже больше работающих в Национальном архиве, чем в 1924 году, но все же с прежним залом нет никакого сравнения. Процент иностранцев сильно увеличился. Появились американцы, которых прежде не было видно. Меньше перемен в администрации архива и среди обслуживающего его штата архивистов. Кто, подобно мне, провел полжизни в этом зале, тот невольно должен волноваться вопросом, как теперь отнесутся к нему хозяева и управители этого места? Как бури войны со всеми ее превратностями и революция со всеми ее последствиями отзовутся на этих скромных персональных „франко-русских отношениях“? Оказалось, что в этом смысле все обстоит вполне благополучно. Конечно, в 1925 и 1926 гг. и даже в конце моего пребывания в Париже в 1924 г., т.-е. с момента официального признания Советского Союза со стороны французского правительства, лица, состоящие на французской государственной службе, могли уже совсем свободно и беспрепятственно водить компанию с профессором, приехавшим по бумагам из Наркомпроса. Но и до официального признания было вполне ясно, что ни война, ни политика нашей старой дружбы не поколебали. Тут-то я впервые и узнал конкретным образом о трудном материальном положении французской интеллигенции после войны. Архивисты, всю жизнь прослужившие на самых ответственных архивных постах, высококвалифицированные, имеющие капитальные труды по описанию архивов, зарабатывают на шестом десятке лет по 1200—2000 (редко 2500 или более) франков, т.-е. по нынешнему курсу 120—160—200 рублей в месяц. Правда, жизнь в Париже гораздо дешевле (особенно это нужно сказать об одежде), чем, например, в Москве, но все-таки получаемое жалованье оказывается слишком скучным даже для самой маленькой семьи. Между тем совместительство строго возбраняется, да и нет возможности уделять время для другой службы. Приходится брать украдкой частную работу, вроде бухгалтерских подсчетов для кооперативов или писания журнальных статей. Но литературные гонорары за научно-популярные статьи (не говоря уже о чисто-научных) чрезвычайно малы: 150—200 франков за лист (12—16 рублей)—весьма распространенная форма оплаты такого рода литературных произведений. Остается жить поэкономнее. Встретить архивиста или профессора в сколько-нибудь хорошем (даже далеко не первоклассном) ресторане, где обед стоит на наши деньги $1\frac{1}{2}$ —2 рубля, почти немыслимо. Профессорские оклады немногим выше окладов заслуженных архивистов. Падение франка нанесло всему чиновничеству, всем служащим страшный удар. О материальном своем быте до войны они вспоминают как о потерянном рае.

Университетский штатный профессор получал в 1914 г. ежегодно в Париже 15 тысяч франков, а в провинции—12 тысяч. В 1926 г. он получает в Париже около 36 тысяч (в исключительных случаях до 54 тысяч), а в провинции—26 тысяч (в исключительных случаях до 42 тысяч).

чительных случаях 36 тысяч). Таким образом жалованье удвоилось, в лучшем случае утроилось, а стоимость жизни возросла в шесть раз. Что касается персонала средних учебных заведений, то здесь часто испытывается, в самом деле, тяжкая нужда. Жалованье колеблется между 15—26 тыс. в год для Парижа и между 11 и 15 тыс. для провинции. Директора и заведующие получают процентов на 12—15 больше. Хранители музеев получают около 24 тысяч в год, их помощники—от 15 до 20 тысяч в год, библиотекари—почти то же самое, а иногда и меньше. В Национальной библиотеке (первой в мире по количеству книг) жалованье библиотекаря при поступлении на службу равно $12\frac{1}{2}$ тысячам в год. Далеко не сразу это жалованье поднимается до 16 тысяч франков. Заслуженные, квалифицированные, с большим стажем библиотекари получают от 21 до 27 тысяч, наконец, несколько человек высших сановников библиотеки получают до 33 тысяч франков в год. При франке, стоящем на наши деньги 8 копеек (вместо 37 коп., которые он стоил в 1914 году), эти оклады оказываются весьма скучными, даже если принять в соображение относительную дешевизну французской жизни. Где достать денег на завтрашний день? Вот вопрос, неотступно стоящий перед ученым и учащим персоналом. „Почему вы пропускаете уроки?“—„Потому что жена заболела и я готовил обед.“—„Почему вы не приходите вечером на педагогические советы?“—„Потому что я вечером хожу по клиентам, так как состою страховым агентом“.—„Но ведь вы знаете, что это запрещено?“—„Знаю, но у меня пять ртов дома“. Вот типичные беседы директора среднего учебного заведения с учителем. Когда я одну такую беседу нашел в журнале „L'Europe Nouvelle“ от 26 марта 1927 года, то мне сразу вспомнились целые десятки аналогичных свидетельств моих французских друзей. Ясно, что это явление общее. А выход в отставку, на пенсию, грозит уже самой настоящей, черной нищетой, житьем на 6—8 тысяч франков в год, чего не может хватить даже и на одного человека, не говоря уже о семье. Приходится при таких условиях рассчитывать каждое су, зрело обдумывать вопрос, на какой остановке трамвая будет экономнее сесть, а на какой слезть, чтобы ни один лишний сантим не пошел на покупку билета. Посещение театра становится для семьи интеллигентного работника событием, о котором вспоминают долго и с одушевлением. О летней поездке на дачу могут думать лишь счастливцы, а большинство довольствуется выездом раза три-четыре за лето, всякий раз на два-три дня, куда-либо в близкие окрестности города.

Особенно разительна перемена, внесенная трудными временами в жизнь учащейся молодежи. Правда, и правительство, и общество стараются хоть немного облегчить положение учащихся: строятся дешевые квартиры (*la Cité Universitaire*), организуются общедоступные и здоровые, хоть и простые, обеды и т. д. Но прежний студент, дававший тон Латинскому кварталу, исчез бес-

следно. Старые, помнящие Луи-Филиппа и Наполеона III кафэ, где по вековой традиции собирались студенты, изменили свой облик, стали щеголеватостью и дорогоизною походить на однородные учреждения правого берега. Исчезли почти бесследно „мономы“, веселые, поющие или скандирующие одно и то же слово процессии, по всевозможным поводам устраивавшиеся студентами и так оживлявшие по вечерам бульвар Сен-Мишель. Квартал попал в руки „новых богачей“, студенчеству уже не по карману селиться в таком центральном месте и оно отнесено подальше, к Монружу и к парку Монсури, где прежде можно было встретить русского или болгарского студента чаще, чем французского.

Современный французский студент уже не прежний беззаботный „*fils de famille*“, получающий обеспечивающую его ренту от отца и живущий утром для лекций, а вечером для удовольствий. Теперь он должен в большинстве случаев думать невеселую думу о добывании средств к существованию. Опустели вечерние „балы“ Латинского квартала. Молодые труженики слишком устают за день, да и билет купить не так легко и просто, как в недавнее, но минувшее время. Студентов видишь утром около Сорбонны и в самой Сорбонне: серьезные, озабоченные, бледные лица, торопливая походка, деловая суэта в коридорах... Даже в этот деловой утренний час довоенная Сорбонна была гораздо веселей. „Печальная у нас победа“ („Nous avons une triste victoire“) сказал мне Олар, когда я поделился с ним этим впечатлением.

И, несмотря на трудные времена, ученая жизнь кипит в Париже. Конечно, сильно вредит делу отрезанность от Англии и Германии. При нынешних соотношениях государственных валют Франции, Германии, Англии и Соединенных Штатов ученым последних трех стран очень легко посещать Францию, но французский ученый лишь с величайшим трудом и значительными пожертвованиями может подготовить свое путешествие в эти страны. Мало того, нечего и думать о систематическом пополнении своей библиотеки немецкими, английскими и американскими трудами. Средняя цена за немецкую книгу научного содержания 10—12 марок, т.-е. 60—75 франков; очень часто бывают и дороже. Человеку, получающему 2000—3000 франков в месяц, нельзя очень уж часто производить подобный расход. Английские книги еще дороже немецких, и их даже великое хранилище — Национальная библиотека — покупает лишь в виде, так сказать, исключения. Ученая молодежь жалуется не только на невозможность продолжительных заграничных поездок, не только на трудности в доставании иностранных книг, но и на очень большие затруднения по части печатания диссертаций. Истратить 10—15 тысяч франков (беру минимальные цифры) на напечатание ученого труда, который, конечно, как и все ученые труды, будет прочтен немногими и ни в коем случае не окупит расходов, слишком трудно для начинающего

ученого, который обыкновенно пробивается жалованьем в 1000 франков в месяц, а иногда и меньше.

И все-таки, чем чаще посещаешь и чем дольше живешь в послевоенной Франции, тем больше поражаешься, насколько при всех вышеотмеченных неблагоприятных условиях энергично и уверенно продолжает работать французская научная мысль, даже в области гуманитарных знаний, наиболее, конечно, заброшенных и пренебрегаемых в наше время безраздельного торжества точной науки и техники. Попрежнему знаменитые филологи, Сильвэн Леви, Антуан Мелье, китаист Пельо и целый ряд менее пока прославившихся, издают книгу за книгой, ведут семинарии, откуда выходят новые и новые работники; попрежнему ведется громадная работа по устроению и классификации колоссального архивного материала в государственных архивах; попрежнему работают представители исторической науки—Олар, Сеньобос, Альбер Матье, Луи Эзенман, Анри Озэ (Hauser), Шарль Диль, Жорж Ренар и другие. Особенно удивляешься старики. Взять хотя бы двух однолеток, вместе служивших в полку еще при Второй империи,—Олара и Жоржа Ренара. Каждому около 80 лет, но они работают не покладая рук, а Олар, кроме исследовательской работы, ведет еще и свой журнал „*La Révolution Française*“, что при нынешних условиях сопряжено с очень большой затратой энергии и нервов. Жорж Ренар успел выпустить после войны несколько томов исследований по истории работников печати в XIX веке и работников других специальностей. Наблюдая его кипучую деятельность, трудно поверить, что проявляет ее старики, коммунар 1871 года, случайно спасшийся от расстрела или каторги, вернувшийся лишь спустя несколько лет после гибели Коммуны. Он всецело сохранил до сих пор все свои былые политические идеалы и симпатии.

Живучесть французского ученого класса проявляется не только в том, что не покладая рук работают старики, но и в том, что по всем гуманитарным специальностям появляются на смену новые и новые люди. Они сознательно идут на очень трудную жизнь, ничуть себя не обманывая относительно условий, в которых им придется работать, в особенности в начале избранного поприща, не все выдерживают, конечно, но все-таки некоторая смена старики готовится, и пустого места, перерыва в культивировании научных дисциплин, вероятно, не будет, хотя мне приходилось даже в печати встречать об этом довольно пессимистические замечания.

Мне очень хотелось уловить и определить, в чем именно заключается изменение в настроениях большинства ученых, с которыми мне приходилось сталкиваться, та перемена, которая явственно сказывается и в прессе и даже в беллетристике, поскольку она касается ученого мира после войны. Если бы можно было с некоторой натяжкой и условностью употребить в данном случае чисто-политический термин, то я бы сказал о „по-

левении" среднего ученого современной Франции. С неслыханною прежде резкостью критикуют консерватизм Академии моральных и политических наук, а также Французской Академии (отмечая в то же время с хвалою беспристрастие и научную нелицеприятность Академии надписей), требуют скорейшего "нравственного разоружения", т.-е. ученого сближения с Германией, сочувствуют инициативе комитета франко-русского научного сближения, с неизвестной прежде раздражительностью жалуются на тяжелые материальные условия. Не все проявляют подобные настроения, но очень многие. Смирный чиновник министерства народного просвещения, прочно сидевший в прежнем преподавателе лицея и даже в профессоре университета, становится типом прошлого.

О необычайно живом интересе высших слоев французской интеллигенции к русской литературе писали уже многие. Очень ярко проявляется этот интерес и среди ученых. Но я бы не сказал, что они очень интересуются современной русской литературой, которая представлена довольно изобильными переводами. Современных русских писателей — не всех, но в большинстве — они считают, может быть, слишком строго, довольно безталанными, бессодержательными, крикливыми, трафаретными, безвкусными и, при всей видимой размашистости, скучными. Но зато никогда не было так сильно во Франции увлечение Достоевским, которого непрерывно переводят и комментируют на все лады. Каждая новая публикация нашего Центроархива, касающаяся жизни и деятельности Достоевского, вызывает целый ряд комментариев, иногда особые книжки (например, вышла недавно специальная книга о Достоевском как игроке — „Dostoiewsky à la roulette“). Его склонны признать окончательно величайшим гением психологического анализа во всемирной литературе. Не умирает интерес и к творчеству Толстого и Тургенева. Профессор College de France Андрэ Мазон, глубокий знаток русской литературы, очень много делает для постоянного поддержания чисто-научного интереса к изучению русских классиков.

Интерес к достижениям русской науки распределяется, если можно так выражаться, неравномерно. Если говорить только о гуманитарных науках, то нужно признать, что филология (русская и славянская) не перестает привлекать к себе живое внимание, санскритология и индология также (достаточно вспомнить успех недавно появившейся на французском языке книги акад. Щербатского по индусской философии); что же касается истории, то здесь французов, как и прежде, интересуют русские исследования, касающиеся французской истории, и сравнительно меньше русские работы, относящиеся к русской истории. Исключением в этом смысле являются общие курсы и обзоры (прежде всего Ключевского и Платонова); когда я уезжал из Парижа, в ноябре 1926 года, там в ученых кругах шел разговор о необходимости вслед за немцами и американцами издать как Ключевского, так и Платонова на французском языке. Их очень интересует

также русская продукция по части византийской истории, и известие о выходе II тома „Истории Византии“ Ф. И. Успенского произвело сенсацию. К слову замечу, что, подобно Ф. И. Успенскому, и французский византинист Шлюмберже тоже не мог долгими годами выпустить очередной свой том, который был у него готов (для нового издания) еще до войны и больше 11 лет пролежал без движения из-за затруднений материального характера.

Стремление специалистов (славяноведов и занимающихся в частности русской литературой) в Россию, конечно, очень велико, и они уже начали ездить к нам. Но нужно признать, что препятствия (материального характера) представляются в данном случае часто неодолимыми. В 1924—1925 гг. французы с большим удовлетворением отмечали пребывание во Франции довольно большого числа русских ученых, командированных Наркомпросом. Но в 1926 г. положение круто изменилось к худшему: Францию посетило лишь несколько человек, и это явление повергло в большое уныние всех, стремящихся к установлению тесного ученого общения между СССР и Францией.

Характерно, что политические деятели Франции не чуждаются собраний, устраиваемых комитетом франко-русского научного сближения: например, на банкете в октябре 1926 г., устроенном по поводу пребывания в Париже некоторых русских ученых, мы видели военного министра Пенлевэ, представителя министра народного просвещения Кавалье и других официальных лиц. Очень показательным было и то любезное отношение, которое я встретил при переговорах с администрацией Библиотеки войны (в Венсенском замке) касательно обмена дублетами с нашим Центроархивом. Директор этой библиотеки Камилл Блок уже успел прислать нам ряд ценных изданий, и есть надежда в будущем значительно развить эти полезнейшие для нас сношения.
